

1-й экз.

ЖУРНАЛ ВЕРЬЮЩИЙ

Литературно-художественный

№ 9. 1914 г.

23 декабря.



С. М. Зейденбергъ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА





Ф. И. Шалыгинъ въ роли Донъ-Кихота. Н. Харитоновъ.

НАВѢРНО.

Пришелъ ко мнѣ чортъ—торговать мою душу. Это случилось не на святкахъ, а въ самый обыкновенный предмартовскій день, когда съ неба падали сѣрые клочья снѣга, большіе, похожіе на немывые носовые платки, и дѣлались коричневой водой на уличныхъ камняхъ. И все остальное было необыкновенно обыкновенно. Я сидѣлъ за своимъ письменнымъ столомъ, покрытымъ зеленымъ кляксъ-папиромъ съ такими знакомыми черными пятнами. Глубокомысленно старался надъ статьей,—втайнѣ думалъ: если она удастся—не прочесть-ли, какъ лекцію? Можно въ залѣ Калашниковой Биржи. Теперь лекціи любятъ. Вотъ только разрѣшеніе...

Въ общемъ—на душѣ (которую чортъ пришелъ торговать) было кисло, но не кислѣе, чѣмъ всегда: обыкновенно.

Чортъ не выскочилъ изъ преисподней: онъ пришелъ съ параднаго хода. Мнѣ подали карточку: «Рюрикъ Эдуардовичъ Окказіонеръ». Сочетаніе нѣсколько странное, но я привыкъ ко всякому сочетанію именъ въ мірѣ интервьюеровъ. А я его сначала принялъ за интервьюера.

Меня рѣдко интервьюировали. Я не знаменитый писатель, такъ, обыкновенный. Но дѣлу? Пусть войдетъ.

Онъ вошелъ. Сѣлъ. Заговорилъ. И черезъ пять минутъ я уже понялъ, что это обыкновеннѣйшій чортъ; онъ тоже понялъ, что я понялъ, и мы заговорили на чистоту.

Меня обезпокоила цѣна, которую онъ сразу предложилъ мнѣ за душу. Слишкомъ была высока. Эге, подумалъ я. Что-то подозрительное. Съ перваго слова столько даетъ. Какъ бы не продешевить. И вообще тутъ не безъ подвоха. Будемъ держать ухо востро.

И я сказалъ:

— Конечно, конечно. Но я по характеру человекъ дѣловитый и трезвый. Вы мнѣ позволите предварительно нѣкоторыя объясненія?..

Чортъ поклонился. Онъ не страдалъ болгливостью и тоже былъ дѣловитъ.

— Что заставляетъ васъ,—началъ я осторожно,—прибѣгать къ старому способу купли-продажи? При современномъ положеніи вещей, не мало вы получаете всякихъ душъ, и притомъ совершенно даромъ.

— Да. Получаемъ,—неохотно произнесъ чортъ.— Но что за вопросъ? даровыя души малоцѣнны. Оптъ.

— Малоцѣнны? Почему же малоцѣнны? Я думаю, душа цѣнится не самимъ фактомъ уплаты за нее, ну а... своей величиной, что-ли, своимъ качествомъ... Не приходилось говорить о такихъ матеріяхъ, выражаюсь неточно, но вы меня понимаете?

— Что за вопросъ? Конечно, понимаю. Цѣнится и качество. Но добровольная сдѣлка тоже цѣнится.

Очевидно, ему не хотѣлось растабарывать со мною. Но и я не желалъ уступать.

— Позвольте. Увеличивая плату, вы тѣмъ какъ бы повышаете самую цѣнность души? Странно. Но пускай. Значитъ, нашъ обоюдный интересъ въ томъ, чтобы вы заплатили мнѣ какъ можно дороже?

— Я заплачу дорого. Что вы сказали—вѣрно не вполнѣ.

Его лаконизмъ меня раздражилъ. Но я видѣлъ—нужно терпѣніе. Онъ еще могъ разговариваться.

— Вы предлагаете мнѣ такія условія, что... бесполезно притворяться, не принять ихъ было бы глупостью. Ихъ приметъ всякій. Почему вы обратились именно ко мнѣ?

— Что за вопросъ? Да почему же не къ вамъ?

Въ самомъ дѣлѣ, почему и не ко мнѣ? Я не обманывалъ себя. Качественноя цѣнности, особенной какой-нибудь, моя душа для чорта не представляла. Кто я? Да самый обыкновенный, заурядный интеллигентъ, заурядный писатель, хотя не вовсе ничтожный; у меня много «весьма»—и ни одного «очень». Я даже не очень бѣденъ и не очень несчастенъ. Весьма склоненъ къ разнымъ общественнымъ идеямъ, весьма хорошо умѣю ихъ въ разговорѣ отстаивать; вообще я «съ запросами»; но это ужъ было-бы не заурядно,—русскій интеллигентъ безъ запросовъ.

Развѣ только одно, одно единственное, у меня не заурядно, это—что я ее, свою заурядность, сознаю. Когда-то огорчался, теперь, въ тридцать лѣтъ,—ничего; привыкъ.

Почему-же и не купить чорту моей души? Она не хуже другихъ. Случайно выборъ палъ на мою.

— Вы, вѣрно, много ихъ скупаете, г. Окказіонеръ? Разсчитать у васъ своеобразный, но если принять какъ данное, что вамъ купить выгоды, чѣмъ даромъ получить, то, вѣроятно, вы только и занимаетесь заключеніемъ подобныхъ сдѣлокъ?

Чортъ промолчалъ. Конечно, это его дѣло, я не имѣлъ права допытываться о количествѣ. И я прибавилъ небрежно:

— Говорю потому, что обманывать васъ не желаю. Мою душу вы получили бы современемъ даромъ. Но если вамъ выгоды платить...

— Да, ужъ я предпочелъ бы сдѣлку. Цѣна хорошая.

Меня обуяла жадность.

— И вы могли бы еще прибавить?

— Я сразу далъ хорошо. А что еще прибавить?

Не зналъ я, что прибавить. Смѣшался. Условія были идеальныя. Мнѣ обѣщалась удача во всѣхъ моихъ дѣлахъ. Ни одинъ человекъ въ мірѣ, если-бъ я попросилъ у него чего-нибудь для себя лично—не могъ мнѣ отказать. Ни одна женщина—если бы я захотѣлъ ее любви. Кромѣ того—обѣщалось полное

физическое здоровье, долготы:—«умрете, когда сами пожелаете,—сказалъ чортъ,—можете жить—ну, хоть лѣтъ до ста десяти, двадцати... безсмертія я вамъ дать не могу-же»... (Тутъ я кивнулъ головой)... «умрете безболѣзненно, самой легкой, тихой смертію»... И еще прибавилъ странно: «однако, ранѣе пятнадцати лѣтъ со дня заключенія договора пожелать смерти вы не можете».

Я усмѣхнулся. Или подвохъ,—это мы разслѣдуемъ,—или формальности: для чего я буду желать прекращенія такой дивной жизни ранѣе ста лѣтъ?

— Я не быстро состарѣюсь?

— Нѣтъ, нѣтъ, вы будете пользоваться исключительной бодростью физической, цвѣтушимъ здоровьемъ.

Какой прибавки я могъ еще просить? Чортъ, однако, подумалъ и сказалъ:

— Насчетъ денегъ... При условіи исполненія всѣхъ личныхъ просьбъ... не трудно, конечно, завтра же составить себѣ любой капиталъ. Но зачѣмъ просить? Могу дать вамъ девять десятыхъ всѣхъ вашихъ ставокъ во всякой игрѣ, во всякое время. Десятую ставку вы будете проигрывать... для приличія, и то, когда сами пожелаете.

Да, теперь ужъ, дѣйствительно, нечего прибавить. Пожелать, развѣ, гениальности? Но это было бы измѣненіе «меня» внутренняго, просьба къ чорту о новой душѣ; я, какъ-ни-какъ, дорожилъ своей и не желалъ получать новой изъ рукъ чорта. Да на дьявола мнѣ какая-то гениальность неопредѣленная! Въ тѣхъ условіяхъ, которыя предлагаются, я буду счастливъ и даннымъ: всѣ статьи мои будутъ печататься, заботъ никакихъ, довольство, здоровье...

Ахъ, вотъ еще что!

— Послушайте, а... смерть? Не моя смерть, но близкихъ, любимыхъ? Если вдругъ... Вѣдь это такое горе...

Чортъ вскинулъ на меня глазки.

— Воскресить уже умершихъ я не въ силахъ... А въ дальнѣйшемъ... гарантировать можно, этого горя вы не переживете.

Я успокоился. Ждать, что онъ воскреситъ двухъ, горячо любимыхъ, смерть которыхъ я пережилъ съ такой мукой,—нельзя же было. Я потерялъ мать. Я потерялъ молоденькую, любимую сестру. До сихъ поръ живутъ онѣ въ моей душѣ. Сейчасъ у меня нѣтъ такихъ привязанностей. Но могутъ быть... И еслибъ мнѣ опять грозила эта мука...

Чортъ повторилъ:

— Я могу серьезно гарантировать... Это все?

— Кажется, все.

Грусть воспоминаній, покрывшая мою душу холодной простыней,—была, видимо, не по нутру чорту. Онъ заспѣшилъ.

— Если все, то мы приходимъ къ соглашенію.

Къ соглашенію?.. Стало вдругъ смѣшно.

— Господинъ чортъ! Да неужели договоръ? Неужели, по старомодному, кровью?..

— Нѣтъ, нѣтъ! Какая кровь! Мы не любимъ крови. Даже чернилъ не надо. Словесно.

— Что-же словесно? Коли на чистоту—я ни черта не понимаю! Что-же это за сдѣлка? Допустимъ—вы не врете, я получаю такія-то и такія-то земныя блага, необыкновенно цѣнныя,—а вы то что получаете? Право черезъ сто лѣтъ, послѣ моей пріятной смерти, явиться и потащить меня крючьями въ адъ, для поджариванья? Между нами говоря, вѣдь ни въ какія крючья, ни въ какой адъ я не вѣрю, и если-бъ вы безъ всякихъ обѣщаній попросили предоставить вамъ это право посмертныхъ крючьевъ—я бы вамъ его спокойно далъ. Утѣшайтесь. Я ничего не теряю. Крючья!

— Зачѣмъ крючья... Что за вопросъ? Никакихъ

крючьевъ. Дѣйствительно, несовременно. Нѣтъ, извините, суть не въ крючьяхъ!

— Да хоть бы и не въ крючьяхъ! Если не знаете—я вамъ скажу...—къ чертямъ не привыкъ, но полагаю, что и съ ними надо быть честнымъ,—я скажу: твердо вѣрю, что не только подпеканій и крючьевъ или, напротивъ, яблоковъ райскихъ, никакихъ нѣтъ,—но вообще ничего нѣтъ для насъ за моментомъ смерти. Смѣшно, право! Я не виноватъ, это вы меня заставляете говорить банальности. Что вы воображали, когда лѣзли ко мнѣ?

— Нѣтъ, нѣтъ, я именно это. Именно такъ я и предполагалъ. Эту вашу вѣру я зналъ.

— Ну, въ чемъ же дѣло? Чего же вы отъ меня хотите? Что вы покупаете?

— Васъ, васъ... Душу покупаю.

— Къ чорту эту старинную фигуральность! Вы предлагаете мнѣ прекрасную, счастливую жизнь, пріятную смерть—съ тѣмъ, чтобы я вамъ что-то отдалъ послѣ этой смерти. А какого чорта я отдамъ, когда не только у меня ничего не будетъ, но и меня-то самого не будетъ! Не будетъ! Совѣстно повторять, право; что вы и за чортъ, если вамъ нужны банальности,—вѣдь лопухъ вырастетъ! Берите себѣ, сдѣлайте милость, этотъ лопухъ. Берите, мнѣ наплевать.

Чортъ заерзалъ и заулыбался.

— Зачѣмъ-же, зачѣмъ-же? Лопуха не надо. Я знаю, знаю. Мы это иначе оформимъ.

Я не слушалъ.

— Терялъ съ вами время! Не упрекаю, мнѣ было забавно, я даже увлекся... Какъ бы мечтами увлекся. Но разъ пошло на чистоту, получайте! Обманывать я и самого чорта не желаю.

— Да развѣ я что?—завизжалъ чортъ.—Вы мнѣ слово дайте сказать! Я знаю, что вы вѣрите насчетъ лопуха! Всѣ же вѣрятъ насчетъ лопуха! Всякія есть сравненія. Есть еще: пузырь на водѣ. Но есть и болѣе



Ф. И. Шалапинъ въ роли Мельника въ «Русалкѣ». Н. Харитоновъ.

современныя разныя: и научныя, и поэтическія. Я эту вѣру вашу знаю. Разувѣрять васъ и не подумаю. И послѣ смерти, лопухи эти,—на что-же мнѣ? Нѣтъ, у насъ другая сдѣлка. Не послѣ смерти.

Совершенно я обалдѣлъ. Пугаетъ меня дьяволъ! Не хочеть-ли, чтобы я гадости какія-нибудь для него, живя, дѣлалъ? Это дудки! По чортовой программѣ я подличать не согласенъ. Провались онъ со всѣмъ своимъ счастьемъ.

Будто угадывая мои мысли, чортъ сказалъ:

— Вы останетесь совершенно свободны. Будете жить вполнѣ по вашей совѣсти, я ни на что не претендую. Нѣтъ, нѣтъ, дѣло простенькое. Дѣло въ томъ, чтобы вы согласились, за премію того личнаго счастья и жизненной удачи, которую я вамъ предлагаю... согласились получить отъ меня твердое знаніе... наитвердѣйшее... вотъ именно этого же самаго лопуха. Теперь вы въ него вѣрите, а послѣ заключенія договора уже будете знать. Съ достовѣрностью. Еще Наполеонъ сказалъ: quand on est mort—on est bien mort. Сказалъ—самъ-же все-таки лишь вѣришь. А вы будете знать—ну вотъ какъ знаете, что у васъ на рукѣ пять пальцевъ, что мы сейчасъ сидимъ въ Петербургѣ, что есть законъ тяготѣнія... ну, мало-ли. Ничего даже и особеннаго. Всѣ другіе вѣрятъ, а вы будете знать. Помоему—лестно. Будете знать—только и всего.

Я поглядѣлъ на него дико.

— Только и всего?

— Ну, да, что за вопросъ, мнѣ тоже нѣтъ выгоды обманывать.

— А что-же вамъ за выгода, чтобы я зналъ?

— Это ужъ, видите ли... у насъ свои расчеты. Васъ они не касаются. Вамъ говорю всю точную правду, клянусь, четырежды клянусь.

Онъ производилъ впечатлѣніе правдиваго малаго. Однако моя дикость не проходила.

— Послушайте. Допустимъ, вы врете. Но сказать, что я понимаю... нѣтъ, я не понимаю. Вѣдь это тоже даръ—знаніе, которое вы мнѣ предлагаете. Милліоны жаждали знать, знать навѣрно... Исторія пошла бы ускореннымъ темпомъ, если бы давно человѣкъ получилъ опредѣленное знаніе о судьбѣ личности послѣ смерти...

— То-есть знаніе, что никакой судьбы нѣтъ,—повиновалъ чортъ.—Что quand on est mort...

— Ну да, да. Не французьте. У васъ скверный выговоръ. Я говорю... да все равно, что я говорю, вотъ первое противорѣчіе: вы хотите, чтобы я зналъ объективный фактъ. А именно: что «тамъ» ничего нѣтъ. Не то, что зналъ «есть или нѣтъ», а именно что «нѣтъ». Этимъ опредѣленіемъ вы и достигаете своего? Я и получаю знаніе?

— Извините, еще не получаете. Вы еще только вѣрите мнѣ, на слово берете...

— Не трудно, разъ это съ моею-же собственной вѣрой сходится.

— Нѣтъ ужъ... зачѣмъ-же намъ путаться въ вѣрахъ. Неудачно. Я ужъ хочу вамъ точное знаніе предоставить. Изъ рукъ въ руки. Вы мнѣ вѣру вашу (все равно, какая, вѣра одна дѣла одна),—а я вамъ—счастливую жизнь, по всей честности, до мирнаго успокоенія. Уснете, какъ сказано, насыщенный дьями.

— А тамъ лопухъ?

— А тамъ лопушокъ. Лопушокъ.

Чортъ предупредительно и даже льстиво хихикнулъ. Довольно противно хихикнулъ. Но мнѣ-то что до его противности? Дѣло есть дѣло. Надо поразмыслить... Я всталъ, началъ ходить по комнатѣ. За окнами высвѣтило, сѣрыя небесныя тряпки на минуту пригнали, перестали падать.

— Деньги, женщины,—заговорилъ вдругъ чортъ нѣсколько робко, прерывая молчаніе.—Я понимаю,

для полноты счастья этого мало. Есть еще... вотъ честолюбіе, благородная страсть. Могу васъ завѣрить, что въ тѣхъ благопріятныхъ условіяхъ, въ которыхъ вы будете находиться, и эту страсть вы удовлетворите. Я не такъ себѣ говорю. Я тоже могу дать гарантію, что если вы...

— Да ладно, понимаю!—отмахнулся я нетерпѣливо.—Чего лѣзете? Вѣдь уже сказали...

— Я въ виду того... Извините, въ виду того, если сомнѣнія...

— Какія сомнѣнія?

— Мало-ли. Пришелъ я съ вѣтру. Думаете, можетъ, чепуха. А я сейчасъ готовъ по рукамъ. По рукамъ ударимъ—и кончено.

— Что-же кончено?

— Сдѣлка. И то я заболтался. Вообще избѣгаю говорить. Съ вами вотъ разошелся.

И многихъ вы эдакъ закупили?—спросилъ я, но въ ту же минуту вспомнилъ, что уже спрашивалъ это и отвѣта не получилъ.

Опять чортъ ни гу-гу, а я опять молча зашагалъ по комнатѣ.

Размышлять, собственно, было не о чемъ, но я размышлялъ.

Во-первыхъ, какъ жаль: зачѣмъ онъ, глупый, не возбудилъ моего любопытства, не сказалъ, что узнаете, молъ, есть-ли «тамъ» что-нибудь или нѣтъ ничего; прямо ляпнулъ: узнаете, что ничего. Во-вторыхъ... да къ чорту «во-вторыхъ»! о чемъ это я думаю? на что мнѣ любопытство, и какъ бы оно могло возбудиться, если я и до чорта былъ увѣренъ, что тамъ ничего нѣтъ? Увѣренность, вѣра, знаніе... ну, будетъ знаніе; много, подумаешь, измѣнится!

— А я объ этомъ моемъ знаніи другимъ говорить имѣю право?—спросилъ я, останавливаясь передъ Рюрикомъ Эдуардовичемъ.

— Конечно, что за вопросъ? Конечно. Я васъ ни въ чемъ не стѣсняю. Отчего же не говорить? Только, не сердитесь, оно не передается. Не возьмутъ. Не беретъ знаніе на вѣру. Вѣру можете увеличить, а знаніе при васъ останется. Это я—могу... при согласіи... это ужъ наша специальность. Монополия. Надо же чѣмъ-нибудь жить.

И чортъ вздохнулъ. Хотѣлъ было я спросить, какая ему-то прибыль отъ моего знанія, да во-время вспомнилъ, что и объ этомъ спрашивалъ, и онъ по праву не отвѣтилъ. Спросилъ другое:

— Вы какимъ-же способомъ возьмете мою вѣру и замѣните ее знаніемъ? Страшнымъ какимъ-нибудь?

— Безъ всякаго способа. Что за предрасудки! Ничего, ни кровавыхъ подписей, ничего... Просто себѣ вы скажете «согласенъ», ну, и... и почувствуете, что знаете, достовѣрнѣйшимъ образомъ насчетъ... какъ его? лопуха. И получите по уговору.

— Я вѣдь еще не сказалъ «согласенъ»?

— Нѣтъ еще. Вотъ я и жду, чтобы не тянуть. Ничего буквально страшнаго, какой вопросъ! Ничего нигдѣ страшнаго. Жизнь для жизни... Получите прекрасную жизнь. Надо любить жизнь въ всякихъ вопросахъ о смыслѣ ея. Жить—вотъ смыслъ жизни. Сколько разъ вы говорили это сами. Ваши же словечки.

— Ну да... мои. Ну да, конечно, я только...

— Вы съ вѣрой ихъ говорили, а теперь будете со знаніемъ. Вѣра-то ненадежная вещь, вещь зыбкая. Двойственная. Гдѣ вѣра—тамъ сейчасъ сомнѣнія. Разно не живутъ. А если знаешь—крѣпче. Знаешь, что нѣтъ особаго смысла—значить и нѣтъ. Крѣпкое дѣло, ясное. А вы—страшно!

— Да я вовсе не про это—страшно!—закричалъ я съ непонятнымъ озлобленіемъ.—Что тутъ страш-

наго? Смысль жизни—въ самой жизни, что тутъ страшнаго? Хотѣлъ бы я знать, что?

— Ничего, вотъ и говорю—ничего. Проживете, умрете, какъ патриархъ, насыщенный днями. Успете. Потомки...

— Ну, дѣло мнѣ до вашихъ потомковъ...

— Я о вашихъ. Я о памяти, которую вы...

— И до памяти мнѣ дѣла нѣтъ. Что я, наслаждаться ею могу, что-ли? Вѣдь не могу?

— Но при жизни... предвкушать... мечтать... это вполне доступно...—запегалъ, вдругъ, смутившись, чортъ. Отъ грубаго, вѣрно, тона моего смутился.

За что я, однако, на него? Совсѣмъ просвѣтлѣю за окномъ; на мостовой была коричневая жижа, а вверху, откуда падали тряпки, теперь стало какъ-то свободнѣе. Въ облачной бѣлизнѣ таилось голубое обѣщаніе.

Будетъ весна. Я увижу много-много весенъ... сколько захочу. Повдну путешествовать. Сначала въ Монте-Карло, настукаю тамъ, сколько пожелаю, а потомъ—хоть въ Америку... Или въ Индію... Или аэропланъ купить, свой? Да, вотъ еще: Маргарита Аркадьевна. Это не любовь, конечно, а все таки... здорово красивая женщина. Не обращала на меня вниманія, а теперь—пу-ка! Что занесешь? Хочешь не хочешь—пожалуйте!

Нюорчка, сестра моя... Да зачѣмъ я вдругъ о ней? Умерла, нѣту ея, лоухъ; и мама лоухъ, и любовь моя къ нимъ—лоухъ. Было и нѣтъ. Было и нѣтъ. И я такъ-же; быть, буду еще немножко—и навсегда нѣтъ меня. И Маргарита Аркадьевна, и Монте-Карло, и Америка съ Индіей, все это—«пока». Ну чтожъ? «Люби, пока любить ты можешь»... Смѣшно, что «любовь» и «пока» не вяжутся. Наскоро полюбилъ, время-то идетъ... Смѣшно, что надо наскоро. Положимъ, предо мною семьдесятъ лѣтъ—развѣ не цѣлая вѣчность? Относительная, положимъ. Да вѣдь все относительно. Въ этомъ и смыслъ—въ «пока». Въ «наскоро». Еще какого смысла? «Часы веселья кратки»... У меня будутъ относительно днины.

Америкѣ, Индіи и всему вообще—гоже семьдесятъ лѣтъ сроку. Дьяволь-ли въ нихъ, когда я умру, насыщенный днями? Умрутъ со мной, очень просто... Я радъ. Впрочемъ, я совсѣмъ не этому долженъ радоваться. Я долженъ радоваться, что «пока» они есть. Да, этому...

Вихрь отрывочныхъ, беспорядочныхъ мыслей закрутилъ меня. Я повернулся къ чорту. Въ освѣтлѣвшей комнатѣ чертовское узенькое лицо показало мнѣ желтымъ, усталымъ, грустнымъ. Онъ терпѣливо ждалъ, но грустилъ на глазахъ.

— А не можете ли вы придти завтра? или... ну въ четвергъ, что-ли?—сказалъ я неожиданно для самого себя. И прибавилъ:—Конечно, если вамъ неудобно... Но я хотѣлъ бы подумать, сообразить, примѣряться...

Чортъ заморгалъ и произнесъ тоскливо:

— Что же еще вамъ думать? Мы выяснили. Что же вы сомнѣваетесь? Сомнѣнія ваши я могъ бы и сейчасъ...

Какой глупый чортъ! Неужели я не стою болѣе умнаго? Дуракъ и дуракъ. Держи онъ себя иначе, болѣе увѣренно и независимо... я, можетъ быть, и склонился бы къ согласію. Не знаю—но очень можетъ быть. А вотъ эга его тоскливая, робкая настойчивость, страхъ какой-то трясуцій—подняли во мнѣ упрямство и недовѣріе. Да, еще странный пунктъ, что пятнадцатъ-то лѣтъ послѣ договора я обязанъ прожить. Это что такое? Если мнѣ будетъ житься въ мѣру чертовыхъ обѣщаній, то на кой же я дьяволъ пожелаю умирать? А если не пожелаю—то къ чему обязательство?

Спросилъ его.

— Ну десять, ну десять,—зауступалъ чортъ и тѣмъ пуше меня растревожилъ. Хотѣлось заорать на него и выгнать въ толчки. Но сдержался, пристыдилъ себя,—глупость-то какая была бы! И проговорилъ холодно:

— Очень радъ. Я все это обдумую. Приходите въ четвергъ. Сейчасъ я занятъ.

Чортъ сдержался тоже—я видѣлъ, какъ онъ разозлѣлъ, блеснули зеленые глазки. Всталъ. Къ удивленію, онъ оказался гораздо меньше ростомъ.

— Это я утомился съ вами,—сказалъ онъ, поймавъ мой изумленный взоръ.—Усталость всегда на меня такъ дѣйствуетъ. Вотъ въ четвергъ я хочу на дѣваться...

Очевидно, получивъ мое согласіе, онъ тутъ же выростетъ до потолка. Ну и пусть его растетъ. Противно, да не заботиться же мнѣ о чортовомъ ростѣ.

— Пожалуйста, пожалуйста,—сказалъ я любезно, провожая его къ дверямъ.—Будьте, какимъ вамъ удобнѣе. Это дѣло ваше.

Въ дверяхъ чортъ остановился и взглянулъ на меня, снизу вверхъ, опять тоскливо и умоляюще.

— А то не раздумывали бы, а? По рукамъ-бы сразу бы и получили все. Нынче вечеромъ пойдете же къ Маргаритѣ Аркадьевнѣ, такъ вотъ...

Ишь вѣдь шельма! Знать, что говоритъ... Ну нѣтъ; подумаешь,—снѣжка! Не такая ужъ малина и Маргарита Аркадьевна. Душу чорту на-скоро изъ за нее продавать, трехъ дней не подождать!

— Или задаточекъ не оставитъ-ли?

— Прошу васъ, прошу васъ,—нетерпѣливо крикнулъ я.—Ничего не надо. Въ четвергъ поговоримъ.

— А если я въ четвергъ ужъ не приду?

Сознаюсь—испугался. Этакій случай, изъ глупаго, мнѣ самому непонятнаго, упрямства,—и провороню? Да что я? Но въ ту же минуту упрямство мое возросло до невѣроятныхъ размѣровъ, я нагло захохоталъ и сказалъ чорту въ лицо:

— При-де-те! А не придете—гоже не заплачемъ!

Съ нимъ, должно быть, такъ и нужно было. Забормоталъ заискивающе, что придетъ, конечно, сталъ кланяться. Когда выходилъ въ переднюю—сдѣлался еще меньше ростомъ—совсѣмъ ниголица.

А я остался одинъ.

Сѣлъ въ кресло, гдѣ сидѣлъ господинъ Оказіонеръ,—да противно, запахъ какой-то псовый,—вскочилъ, перешелъ на диванъ. Было твердое намѣреніе сразу начать обдумывать дѣло. До четверга всего три дня, сегодня понедѣльникъ.

Однако, я или оглупѣлъ, или утомился. Ничего не выходило, а думалось о другомъ. О пустякахъ. О какихъ-то книгахъ новыхъ, о собственной статьѣ, которую хотѣлъ писать передъ приходомъ Оказіонера. Словомъ, терялъ время. Нѣтъ, надо уйти изъ этой комнаты. Повидать кого-нибудь, человѣка—не чорта.

Презирая мокрый снѣгъ, который опять повалилъ, я отправился къ моему другу, беллетристу Ильину.

Ильинъ былъ уже не молодъ, извѣстенъ, дорогъ, симпатиченъ и вѣчно всѣмъ недоволенъ. Тратилъ много и всегда не хватало.

Я засталъ его въ нетопленной квартирѣ, въ пледѣ. Передъ нимъ сидѣлъ студентъ со стихами. У студента было тоже кислое лицо, но смущенія—никакого.

— Что, батенька, погода-то? Я ужъ опять простуженъ. А выхвать придется. Этотъ чортъ по телеграфу денегъ не присылаетъ. Извините, Гуда Гудычъ,—вернулся онъ къ студенту,—стихи стихами, а проза прозой.

— Это тоже поэзія—поэзія города,—неожиданно тонко сказалъ студентъ.

— Ну, ужь не знаю, лучше бы безъ такой поэзии. Охъ-хо-хо! Каторжная жизнь! Еще дураки завидуютъ. Но мнѣ— скорѣй бы помереть да воскреснуть!

Я засмѣлся.

— Дудки, помрете, такъ не воскреснете. Жизнью пользуйся живущій. Далѣе—«продукты распада».

Въ эту минуту вошла жена писателя, Марья Львовна, нехозяйственная, тихая женщина, съ милыми печальными глазами. Она испуганно посмотрѣла на меня и вдругъ сказала:

— Какъ это вы... неприятно смѣтаетесь. Точно будто вы навѣрно знаете.

Я смѣшался. Ужь не знаю-ли? Ужь не подсунулъ ли мнѣ чортъ это знаніе незамѣтно какъ-нибудь? А студентъ равнодушно произнесъ:

— Что-жъ? Жизнью, дѣйствительно, слѣдуетъ пользоваться. Жизнь—это мои ощущенія пріятнаго и неприятнаго, а что за предѣлами—чортъ съ нимъ!

— Это не вы сказали,—подхватилъ Ильинъ. Знаю, кто это сказалъ! Подписывается, значить?

Иуда Иудычъ пожалъ плечами. А я вдругъ разъярился на студента.

— Поздравляю васъ съ такой подписью! Ощущенія! Остальное чоргу?

Ильинъ закрѣпѣлъ примирительно.

— Еще не о загробной-ли жизни спорить? Я сказалъ «воскреснуть»—такъ себѣ, семидна одного знакомаго вспомнилъ, любимая его была поговорка. Умереть-то онъ умеръ, а ужь какъ дальше— покрыто мракомъ неизвѣстности. И благо.

— Что—благо? Почему благо?—взволновался я.

Вмѣшалась Марья Львовна, опять испуганно заговорила:

— Конечно-же... Это хорошо, что мы не знаемъ. Какъ же. Вотъ вы сказали: продукты распада. Да тогда сразу все опротивѣть.

— Ну, а если знать, знать навѣрное, что тамъ—небесные мидалы? Тогда не опротивѣть? Здѣшнее-то не потеряетъ смысла?—торжествовалъ я.

— Тогда... тоже, — сказала она нервнито и поглядѣла на мужа.—Да зачѣмъ знать? Знать нельзя.

— Нѣтъ-съ, можно-съ! Я ужь почти знаю. И буду знать точно, что ни черта рогатаго насъ «за гранью бытія» не ждетъ, и великолѣпно буду жить этими, вотъ, «ощущеніями», еще позавидуете, да!

Оба, и мужъ и жена, поглядѣли на меня со страхомъ. Очень ужь я волновался. А на меня самого наплылъ страхъ, и «ощущенія» показались на секунду, дѣйствительно, чѣмъ-то прогивнымъ.

— Жизнь есть творчество,—осѣлъ я.—Пока живешь—можно много создать добраго, истиннаго...

Иуда Иудычъ всталъ.

— Ну, послѣднее меня не интересуешь,—тонко и ясно проговорилъ онъ.—Насчетъ ощущеній-же—дѣло другое. Цѣль—увеличить число пріятныхъ и уменьшить число неприятныхъ.

Когда онъ вышелъ—я сказалъ:

— Довольно неприятный субъектъ.

— Васъ-же поддержать, — ворчливо произнесъ Ильинъ.

Но я уже думалъ о другомъ. Мнѣ пришло въ голову новое соображеніе: не оттого-ли я отсрочилъ продажу души, что чортъ обѣщалъ мнѣ благополучіе только личное, индивидуальное? Вотъ эти именно «ощущенія»? Удачу только въ томъ, что касается одного меня? Это шкурное счастье, и конечно, я...

Однако, что за вздоръ. Положимъ, что цѣна—личная удача. Это чистѣйшій плюсъ и косвеннымъ образомъ онъ повліяетъ, конечно, и на всѣ мои личные начинанія. Чистѣйшій плюсъ! И что я отдаю за него? Нѣтъ, хотѣлъ бы я звать, что я, въ концѣ концовъ, отдаю?

Завертѣлось колесо. Задумался, не слышалъ, о чемъ и говорятъ Ильинъ съ женой.

— Какая бѣда надъ вами стряслась?—усмѣхнувшись, спросилъ, наконецъ, Ильинъ.—Я васъ третій разъ окликаю—а вы точно глухой. Или въ эмпириѣ забѣхали?

— Куда тамъ въ эмпириѣ!—забормоталъ я.—И бѣды никакой. Напротивъ. Ахъ, Елизавета Григорьевна!

Это была Лизочка, единственная дочь Марьи Львовны, падчерица Ильина. Я рѣдко ее видѣлъ, но всегда съ особеннымъ чувствомъ. Курсистка, а личико у нея дѣтски-милое, тихое. И такъ трогательно торчатъ петли бархатнаго чернаго банта на затылкѣ, на темныхъ волосахъ. Иногда, какъ тѣнь, проходило что-то по душѣ, что-то ибжное и глубокое: если-бъ полюбить Лизочку, если-бъ она полюбила... Горячо становилось у сердца—и ужь прошла тѣнь, почти не зацѣпивъ мысли.

Увидавъ темную головку, милые глаза—я ждалъ привычной, ласковой тѣни, о ней думая, но... ничего не было. Холодно поглядѣлъ на бархатную ленту. Улыбнулся по привычкѣ. Пожалъ руку. Экій я сантименталистъ. Что мнѣ Лизочка? Никогда не люблю ее. Если-бъ я захотѣлъ... послѣ четверга... Лизочка мнѣ бы не отказала. Но я почувствовалъ ясно, что не захочу. Маргариту Аркадьевну скорбе. Живо, на скорую руку... Надо-ла—прощай, въ Индію...

А Лизочка мнѣ будетъ въ корнѣ ненужна, я знаю; съ Лизочкой что-то другое могло быть, и ибтъ его. Милое, хорошее, особенное—и ибтъ его. Такое невозможное, что хоть и жаль, а вотъ ужь и не хочется.

— Куда вы?—удивленно спросила Лизочка, когда я сорвался съ мѣста и сталъ прощаться. Она привыкла подолгу дружески болтать со мной, когда мы встрѣчались.

— Оставь его, Лиза,—сказалъ Ильинъ.—Съ нимъ что-то случилось. Говорить, будто не дурное,—хорошее, а не видать.

— Прощайте. Въ четвергъ приду. Или не приду. Если не приду—значить, въ Монте-Карло уѣхалъ, въ Америку...

Они раскрыли рты, а я удра-лъ.

Въ тотъ вечеръ я не пошелъ и къ Маргаритѣ Аркадьевнѣ. Никуда не пошелъ, просидѣлъ дома. Думалъ—и не думалъ, перебиралъ книги свои, письма старыя, вытащилъ портреты Нюрочки, мамы. Унылое безпокойство грызло меня. Перебиралъ старое—будто прощался. Смѣшно и жутко: не къ смерти же я готовлюсь, а къ счастью, къ жизни? Да, а все-таки было какое-то прощанье. Зналось уже, что потомъ (послѣ четверга) ни до писемъ, ни до портретовъ больше не дотронешься: провалятся они. Чутьемъ страннымъ зналось.

Ночью меня дивили кошмары. Я ходилъ, дѣйствовалъ,—а кругомъ былъ кинематографъ: все черное и сѣрое, быстрое, дрожащее, и безъ голоса. И я былъ изъ кинематографа. Не боялся, а только скучалъ.

Красная неподвижная занавѣска—я ее увидалъ, проснувшись,—развеселила и обрадовала меня. Какъ хорошо, что красная и что не двигается. И за окномъ хорошо: уже мартовская яснота, Петербургъ... Въ кинематографѣ моего сна была какъ будто Индія...

Этотъ день, вторникъ, и слѣдующій, среду, я проспалъ. И такъ, по улицамъ,—и по гостямъ. Порою возвращалось физиологическое, безловное ощущение незабытаго повторяемаго сна,—и тогда было сосуще-скучно. Вечеромъ пошелъ, наконецъ, къ Маргаритѣ Аркадьевнѣ; увидалъ ее—и съ непреложной увѣренностью вспомнилъ, что въ моемъ ночномъ кинематографическомъ мнѣ она все время была и вертѣлась. Даже платье вотъ точно такое—сѣрое съ бѣлой вставкой. Волосы черные.



Д. Максимовъ.

«Рождественскій базаръ въ старину»



Рождество на по

Вѣроятно во мнѣ было что-то особенное, потому что Маргарита Аркадьевна въ этотъ вечеръ обратила на меня больше вниманія, чѣмъ всегда, смѣялась, даже—кокетничала... А я замирала отъ страха. Уже не начало ли это исполненія моихъ недавнихъ желаній? Недавнихъ, потому что сегодня—я не имѣла къ Маргаритѣ Аркадьевнѣ, дамѣ изъ моего чернобѣлаго, сѣраго сна—никакихъ желаній. Ея новая, плоская фигура даже отвращала меня. Казалось—вотъ-вотъ задрожитъ она, мелькнетъ и скроется.

«Эге,—подумала я, проснувшись утромъ въ четвергъ.—Вотъ оно что! Чортъ просто хотѣлъ, чтобы я понемому сняла съ ума. У меня, должно быть, всегда были слабы извѣстные центры. Никто сегодня ко мнѣ не придетъ, ничего я не получу, а взять-то онъ, дьяволъ, порядочно взялъ, и даромъ: ужъ все мнѣ кругомъ начало мерзѣть. И опять цѣлую ночь (третью!) это кинематошное трясеніе. Житья нѣтъ».

Мысли необъидительныя. Но я горячо убѣждала себя, что вѣрю имъ, что ничего нѣтъ, ничего не будетъ, чортъ не придетъ; я даже рѣшила выйти утромъ, освѣжиться, погулять... Вернусь не раньше часу, позавтракаю... Что за черти! Вздоръ все. Ну быть, ну подгадилъ, сколько могъ,—и довольно.

Съ торопливымъ невниманіемъ я просматривала газету, собираясь ее бросить, итти гулять. Все вздоръ, довольно, довольно! И вдругъ глаза мои упали на таблицу тиража.

Никогда я этихъ тиражей не читала. Отъ мамы еще былъ у меня заложный и перезаложный, допотопный билетъ. Я хранила его именно потому, что мать его хранила, показывала его мнѣ, мальчику, заставляла вытвердить наизусть номеръ и серію, говорила съ трогательной заботой: «это будетъ твой, Леша, пусть ужъ всегда будетъ твой».

Выплыли изъ старинныхъ глубинъ затверженные цифры. Вотъ онѣ стоятъ первыми, напечатаны. Первый выигрышъ.

Что-же это такое? Отвѣтъ? Задатокъ? Значитъ, онъ придетъ? Значитъ, онъ увѣренъ, что я согла-

сился? Когда же я согласился? Не принимаю задатка, къ чорту, къ чорту!

Сунувъ смятую газету въ карманъ, я выскочилъ на улицу. Онъ придетъ, теперь ужъ было ясно;—пускай. Я вернусь къ часу, я все это кончу, такъ или иначе... Какъ-же? Что я рѣшила? Чего я боюсь?

Неопредѣленности, должно быть. Кончить надо,—и все кончится. Кончить надо.

Я шелъ по набережной торопливо. Шелъ какъ во снѣ. Какъ въ моемъ снѣ—бѣла была Нева, черныя далекія строения за нею. Черныя встрѣчные, черныя по бѣлому пробѣгающіе санки, и тишина стояла такая-же, какъ во снѣ. Изъ окна я еще видѣлъ солнце, теперь его затушило бѣлое небо. И какъ во снѣ же—безиокойная унылость подсасывала сердце. Вотъ оно. Въ карманѣ у меня двѣсти тысячъ. Это лишь начало. И кругомъ—кинематографъ. Былъ ночью, теперь ужъ и днемъ. Это лишь начало. Еще сто лѣтъ буду жить въ кинематографѣ. Здоровый, сильный, богатый, со своимъ аэропланомъ, съ благосклонностью всѣхъ черныхъ и сѣрыхъ дамъ, съ бѣлой Индіей, съ мелькающей Америкой—сто лѣтъ! а потомъ вмѣстѣ мы всѣ исчезнемъ, какъ тѣни съ экрана. Да и экранъ за компанію. Еще сто лѣтъ! Впрочемъ, если я захочу... Только пятнадцать лѣтъ. Только десять лѣтъ... Только! Десять лѣтъ въ кинематографѣ!

Мелькали черныя санки. Бѣла бѣлая крѣпость за бѣлой рѣкой. Десять лѣтъ! Я продалъ... что же я продалъ? И когда я продалъ?

Продалъ что-то. Или сейчасъ продамъ. Задатокъ въ карманѣ.

Вдругъ меня окликнули. Какъ я обрадовался звуку! Обернулся—и обрадовался еще больше: увидѣлъ не черную—коричневую шубку Лизочки, розовыя отъ холода щечки, голубые глаза. А на мѣховой шапочкѣ, сбоку, у нея были приколоты яркій макъ.

— Елизавета Григорьевна, Лизочка... —забормоталъ я.—Какой у васъ макъ алый.

— Что съ вами?—спросила она тихо, не улыбаясь.

— А что? У меня видъ больной?



о на позиціяхъ.

Робкій былъ расчетъ: заболѣваю, значить, еще не купленъ.

— Ахъ, нѣтъ, здоровый, хороший видъ. Только бѣжите, сами съ собой говорите, и глаза...

— Сумасшествіе?

Тоже недурно было-бы; и сумасшествіе—болѣзнь.

— Ахъ, нѣтъ! Я не знаю... огорченные глаза, испуганные. Вотъ и сейчасъ.

— Лизочка, да взгляните вокругъ, все бѣлое, все черное, огорченное, сѣрое...

— Что вы! Все розовое. Блѣдно-блѣдно розовое.

— И тишина такая странная...

— Тишина? Что вы! Слѣгъ скрипитъ, воздухъ поетъ...

— Лизочка, Лизочка, а вы знаете—это все только вамъ кажется, а есть—только тихое, только сѣрое, только бѣлое, и оно—только на сто или на десять лѣтъ, а послѣ и его нѣту, навѣрно-раз-навѣрно. Не знаете? А я ужъ почти знаю. Я продалъ мое «кажется». Черезъ полчаса продамъ. Дорого дадутъ: одинъ задатокъ—двѣсти тысячъ!

— Вы «кажется» продали?—спросила она серьезно, не удивляясь.

— Ну да, не умѣю лучше назвать. Еще не продалъ, а вотъ сейчасъ... Ужъ задатокъ есть. Сейчасъ надо идти... Кончать.

— Всякое «кажется» — повторила Лизочка.—Постойте. Постойте. Вѣдь это... надежду продаете? Надежду.

— Да у меня нѣтъ надежды, не было, не было!

— Есть. У всякаго человѣка есть всякая надежда. Онъ и не знаетъ—а есть. Я тоже не умѣю сказать. Надежда... или душа. Не умѣю сказать.

— Лизочка, Лизочка, не уходите. Алый цвѣтокъ вашъ я не буду видѣть, все опять зачернѣетъ, засѣрѣетъ, и ужъ на сто лѣтъ, на десять лѣтъ! Лизочка, пойдете со мною, войдите ко мнѣ со мною...

— Хорошо. Да вотъ, мы ужъ дошли... Вѣдь вы здѣсь живете?

Мы, въ самомъ дѣлѣ, дошли незамѣтно до моего подъѣзда.

Быстро поднялся я на лѣстницу, отворилъ своимъ ключемъ дверь, сбросилъ пальто на ходу—и прошелъ въ кабинетъ. Я не оглядывался, я и такъ зналъ, чувствовалъ, что Лизочка идетъ за мною.

Въ кабинетѣ, на томъ же мѣстѣ, уже сидѣлъ Рюрикъ Эдуардовичъ Окказіонеръ. Я его сейчасъ же узналъ, хотя онъ былъ особенно малорослый, не болѣе восьмилѣтняго ребенка. Читалъ, ожидая, газету.

Я остановился на порогѣ, заслонивъ Лизочку. Увидѣвъ меня, Окказіонеръ, улыбаясь, сталъ приподниматься... Но я не далъ ему заговорить. Я вынулъ изъ кармана скомканную газету и бросилъ ему въ харю.

— Берите вашъ задатокъ, убирайтесь вонъ. Я не покупаю ничего, не продаю ничего. Ни на сто лѣтъ, ни на десять, ни на часъ, ни на минуту! Вонъ!

Окказіонеръ хрюкнулъ, пискнулъ—не разобралъ я что, грустное что-то, жалкое что-то. На глазахъ моихъ сохся, съежился, еще, еще—и вдругъ мышью сѣрой порскнулъ въ дверь, мимо нашихъ ногъ,—вонъ.

Газета, которую онъ читалъ, та-же газета, тотъ-же номеръ, что я таскалъ въ карманѣ, осталась. Но не смятая. А моей, смятой, не было. Тяжело дыша, точно поднялся на высокую гору, я взялъ газету,—вотъ онѣ, проклятыя цифры... ноль два? ноль два? Нѣтъ: ноль три. Слава Богу! Онъ взялъ свой задатокъ.

Лизочка стояла около меня, оглядывалась и растерянно улыбалась. Горѣлъ макъ у нея на шляпѣ, золотомъ отливалъ коричневый мѣхъ въ солнцѣ марта.

— Лизочка, Лизочка, ты слышала? ты видѣла? ты ничего не знаешь? И я ничего не знаю. Лизочка, радость моя, неизвѣстность моя, легкость моя, надежда моя, любовь моя!

3. Гунисъ.

